

“Приезжайте в Иркутск, поговорим”, — улыбнулся он при последней встрече. У него была детская улыбка. В тишине мы выпили по бокалу вина. Несспешный и негромкий. При общении с Распутиным я подпадал под какие-то чары безмолвия, всякий раз терялся, робел. В нем было то же, что и в его прозе, и что в известном смысле делает бессмысленным любое интервью. Ведь и в его прозе, при всем ее сюжетном драматизме, много безмолвия, недосказанности, воздуха между словами.

В нем чувствовался надлом. Этот надлом зафиксировали телекамеры летом 2006-го: сгорбленная спина уходящего из иркутского аэропорта. Там сгремела в самолете его дочь Мария. “Пожар”, как пророческая метафора, которой суждено жить и губить и после Валентина Григорьевича. Как и суждено повторяться его вопросам. Он спрашивал о способности людей на отзывчивость в “Деньгах для Марии” и обрывал повествование, так и не показав развязки. Он спрашивал о женской любви, пусть бы и к дезертиру, итопил концы в водах Ангары.

Травмированность Распутина я почувствовал еще в начале 90-х, когда его впервые увидел. Мало кто вспоминает: в 70-е его сильно избили неизвестные, проломили голову. Мне кажется, он напоминал вернувшегося с войны. Хочется назвать правду Распутина народнической, но он не ходил в народ, а никуда из народа не уходил. Вот уж точно неподкупный голос, скромно, даже сдавленно неподкупный, и именно эхо русского народа. Эхо ведь бывает не раскатисто-митинговым, а негромким, ломким, тающим...

Распутин был тем самым праведником, без которого не стоит село, и который, конечно, от села обособлен. Лев Толстой до болезненности часто мыл руки. Валентин Распутин — это страсть к чистому снегу. “Не хватает чистого снега”, — пожаловался он как-то. Ему-то и в Сибири? А вот... Сложно представить в его самом откровенном и личном разговоре материщу. Распутинские радения за экологию — за спасение рек, за Байкал — это еще и какое-то внутреннее делание, отстаивание личной чистоты. Но праведник неотделим от села. Однажды я услышал от него рассказ о сибирских родственницах, которые прилипли к телевизору и смотрят “всякую гадость”, и, когда он их попрекает, машут на него руками. Даже в этом рассказе было сочувствие им, понимание их, пусть и огорченное.

Он стоял за родных ему упрямо — так ведь и называлась когда-то компания молодых писателей-иркутян: стенка. “Бедность плачет, а богатство скачет”, — написал он за несколько лет до смерти, рецензируя один гламурный журнал. Сейчас рассуждают, каким он был разным в публицистике и литературе. Но он был одним и тем же. В том, что называют публицистикой, имел мужество передать самое простое — насущное для народа. А в той литературе, которая останется навсегда, умел передать главное — человека со всей его таинственной сложностью.